

Содержание

Книга первая

Истоки криниц 7

Книга вторая

Секира при древе 491

Две главы из книги «Брань» 957

Глава из книги «Вороньё» 977

Вместо послесловия 987

Книга первая

Истоки криниц

Он же сказал им в ответ:
вечером вы говорите: «будет вёдро,
потому что небо красно»;
и поутру: «сегодня ненастье, потому
что небо багрово».

Лицемеры! различать лицо неба вы
умеете, а знамений времён не можете?

Евангелие от Матфея 16:2–3



*Я счастлив полнотою зрелой силы.
И вдохновенье кажется прочней.
И колыбель моя далёко, и могила,
И слабость дней весны, и «мудрость» зимних дней.*

*Дни, как века, не зрят ориентиров,
И силой тело полнится моё.
При новом древе положил секиру,
Чтоб на рассвете в руки взять её.*

*Пусть бесконечен путь и бой до боли:
Всё совершив и дней замедлив бег,
Спокойно лягу я затем, как поле,
Под чистый и холодный зимний снег.*

I

Груша цвела последний год. Все ветви её, все большие рассохи, до последнего прутика, были усыпаны бурным бело-розовым цветом. Она кипела, томилась и роскошествовала в пчелином звоне, тянула к солнцу солидные лапы и распростирала в его сиянии маленькие, нежные пальцы новых ростков. И была она такой могучей и свежей, так неистово спорили в её розовом рое пчёлы, что, казалось, не будет ей извода и не будет конца.

И, однако, наступала её последняя година.

Днепр подбирался к ней исподволь, понемногу, как разбойник. В вечном своём стремлении сокрушить правый берег, он подступал в половодье совсем близко к нему, разрушал откосы, сносил, чтобы посадить в другом месте, лозу, насильственно вырывал куски берега либо осторожно подмывал его, чтобы вдруг обрушить в воду целые глыбы земли. Потом отступал, до следующей весны, и трава милосердно спешила залечить раны, нанесённые Днепром. А он возвращался снова: где разрушал, где подмывал и со временем окружил грушу почти со всех сторон.

Этот последний год груша стояла лишь силой своих корней, укрепив ими для себя полукруглый форпост.

В собственных руках держала жизнь.

Половодье спадало. Следующее должно было бросить дерево гонкой головою в волны. Груше следовало бы подготовиться к этому, к неминуемой смерти.

Но она не знала этого. Она буйно цвела.

И лепестки падали на быстроту реки...

За грушей заканчивался надел Когутов. Лет сорок тому назад стояла ещё за деревом чёрная баня. Но в одну из ночей, совсем внезапно, Днепр схватил её — даже бревна не успели выловить. Так, наверно, и сплыли брёвна из Озерища даже в самый Суходол, где полуголодные мешане и щепки не пропускали.

Новую баню старый Данила Когут вывел сажень в ста от берега, куда выше собственной хаты. Невестки жаловались: пока натаскаешь воды — руки отнимаются. Данила слушал их и бурчал в ласково-едкие, золотистые ещё тогда усы:

— Лишь бы мой вацок¹ с деньгами не отняли. Рук — не покупать...

И гнал сынов, чтобы помогли бабам принести ушата два-три.

Новая баня со временем стала слишком роскошной для семьи Когутов. Сыны по глупому новому обычаю отделились, с отцом остался лишь старший, Михал, с женою да шестеро их детей: пять сыновей и дочка-мэзиница. Пойдут семь «мужиков» в первый черёд, так места — хоть собак гоняй, и от этого простора холодно.

И всё-таки старой бани никто не жалел. Вместе с баней сплыла чёрная история.

Было это через несколько лет после того, как Приднепровье отпало от «Короны». Данила был тогда ещё подростком, единственным сыном у отца, единственным внуком у деда. Как напасть какая-то была. За три поколения холера дважды выкосила Озерище. Когутам повезло. Хоть по одному мужику осталось на завод.

Остальные умерли. Не помогло и то, что Роман, дед Данилы, считался колдуном. И он ничего не мог поделывать, наверно, потому, что дело было новое. Даже глубокие старики не слышали от дедов о холере.

Кто не сбежал в лес — тем было худо. А Роману с сыном, Маркой, не позволил убежать пан. Дал ружьё и повелел остаться в пустой деревне, чтобы не разграбили крестьянских пожитков лихие люди. Ружья, пожалуй, и не стоило давать. От холеры ружьём не отобьёшься, а лихие люди боялись Романа с его славой хуже ружья.

Наверно, Роман не был бы Романом, если бы не нашёл средство. Он и отпоил сына резким берёзовым квасом. Не отдал смерти. Но остальных не успел.

Холера ушла. Забыли и о ней. А в хате Когута так и жили старик, взрослый да малый.

И вот тут и случилось. В одну из тёмных ноябрьских ночей Марка убил отца в бане. Заколол старика вилами.

¹ Вацок — калита. — *Здесь и далее цифрой-номером обозначены примечания автора, звёздочкой — примечания переводчика.*

Аким Загорский, старый озерищенский князь, прослышав, за голову схватился. Чего уж тогда ждать от человека, если он на убийство отца идёт? Что же это происходит? Или библейские времена возвращаются, или конец света наступает?! А так как он двадцать лет неизменно ходил в почётных судьях, и до раздела и потом, в губернском земском суде, то вознамерился упечь преступника, откуда и ворон костей не приносил, благо сейчас просторы были немереные и даже Сибирь своею была. Схватили Марку — хорошо! В цепях он — хорошо! Скорее его, изверга, в Суходол, на судебную сессию.

А потом взялся Аким за разум. Был он князем милосердным и добрым. Наверно, потому, что очень богат, а значит, не было у него нужды выжимать из мужиков последнее. Трём тысячам мужиков легче нести одного барина, чем десятку какому-нибудь. И не то чтобы Аким сейчас оправдывал убийцу. Он задумался: как могло случиться, какая выгода была пойти на такое любимому, от смерти отцом спасённому, сыну, единственному наследнику? И, главное, удивляло Загорского то, что никто из односельчан и словом, и кивком даже не осудил Марку. Будто так и надо было.

Аким Загорский знал силу обстоятельств. И знал: до самой глубины человеческой души и того, что заставило её сделать то или другое, не докопается никогда ни один суд. Не на то люди суды выдумали. Суд — это расправа. И хозяйева каждого суда хотят только, чтобы расправа была скорой и не очень дорогой.

И потому он однажды ночью явился в застенки упразднённого за ненадобностью замка. Замок был двухэтажным, с подземельями. В башнях новая власть разместила провиантские склады, а подземелья так и остались тюрьмой.

Думал Аким Загорский, что увидит слизня, раздавленного тяжестью собственной вины, а увидел человека, который даже не прячет глаз.

— Может, не твоя вина? — смутился Загорский. — Может, кто-то другой?..

— Моя вина, — сказал Марко. — Моя рука совершила, мне и отвечать.

— Так что же ты тогда святым прикидываешься? — вскипел князь. — У собаки глаза занял!

— Вы не кричите на меня, — совсем не по-мужицки, с достоинством, сказал закованный. — Надо мною земного суда

Книга вторая

Секира при древе

Уже и секира при корне дерев лежит:
всякое дерево, не приносящее доброго
плода, срубают и бросают в огонь.

Евангелие от Луки, 3:9



Пришло Рождество. Сочельник. Накануне подвалило мокрого снежка, но за ночь подморозило, а утром напал другой снег: глубокий, пушистый и сухой. Из окон загорщинского дома падали на сугробы оранжевые пятна света. Ели стояли тепло укутанные и густо, почти без просветов, засыпанные мягким белым снегом: напоминали ночных сторожей.

Напротив крыльца стоял вылепленный Мстиславом снежный болван. Он был выше человека, и у него была самая смешная из всех болванов на земле спесивая морда.

Мстислав вылепил было болвану и грудь, но пришёл герр Фельдбах, неодобрительно посмотрел на эту вольность, покачал головою и собственноручно отредактировал болвана.

Снег. Ели. Снежный болван. Огоньки в окнах. Это напоминало бы рождественскую картинку, если бы не существовало в натуре.

Болван смотрел на дом высокомерно и горделиво. Он знал, что он наилучший из всех возможных болванов на земле. И он, конечно, ни о чём не думал. Он был весьма глупый, всего-то однодневный, болван.

Не знал болван, что со временем ледяное небо станет синим и по нему поплывут другие болваны, вылепленные неизвестно кем. Они будут такие ослепительно-белые, аж горячие. И ему вдруг нестерпимо, впервые за всю долгую снеговую жизнь, захочется не стоять на месте, а подняться к ним и быть таким же горячим и белым. И плавать и громоздиться вместе с ними.

Он сделает это. Но ничего не изменится, и люди, поднимая головы от серпа, будут говорить:

— Болваны какие сегодня. Чтоб только не пошёл дождь.

Его потянет к братьям в небе, и он почувствует боль и слабость. А потом от него останется лишь кучка грязного снега, прутик и два уголька, бывшие глаза, которые, наверно, проследят ещё его полёт вверх.

Алесь стоял возле болвана без шубы и шапки и смотрел на него. Болван поглядывал на Алесья с оттенком презрения, и Алесья рассмеялся — такое это было счастье: снега, оранжевые окна и болван. И, конечно, огоньки ёлки в окне зала. И то, что Майка здесь.

Он стоял так долго и уже немного замёрз, когда услышал скрип снега.

— Имя? — спросил голос.

— Алесья.

— Я шучу, — подходя, сказала Майка. — Врожить рано.

Она ничего даже не набросила. Так и была в туфельках, с голыми руками и шеей.

— Глупышка, — ойкнул он. — Простудишься.

— Ничего не сделается, — засмеялась она.

Не зная, что делать, он обнял её и попробовал прикрыть её голые руки своими.

— В дом! — скомандовал он. — Скорее в дом.

— погоди, — обратилась она. — погоди. Тут хорошо.

Ближе прижалась к нему.

— Взбалмошная девчонка, — не унимался он.

Держал её ладонями за плечи. А она согнула руки, и сейчас они были между нею и ним.

— В дом.

— Нет, — улыбнулась она. — Ему ведь не холодно.

— Он — снежный болван. Весною он пойдёт к небесным болванам. А зимой опять выпадет снегом, и из него снова вылепят болвана. Так он и будет век ходить в болванах... А ты человек. Мой человек.

Майка вздохнула и склонила голову ему на плечо. Алесья смотрел на её лицо, бледное в синем свете звёзд, и ему ничего не хотелось видеть, кроме него, холодного от мороза, но тёплого такой глубокой внутренней теплотой.

Он ощутил это, припав губами к её губам. Это был такой мучительный, такой длинный поцелуй, что ему показалось: сами снега и всё вокруг затаили до боли дыхание.

Не видел он ни дома, ни того, что дверь на террасу открылась и кто-то подошёл к перилам, постоял так минуту, а потом торопливо вернулся в дом. Ему не было до этого дела.

Когда он на миг отрывал губы от её губ, он видел только одно: резкую искру низко над землёй, почти сразу за её плечом.

Сиял над горизонтом ледяной, яростно-голубой Сириус.

...Когда они зашли в прихожую, юноши и девушки уже надевали шубы, шапки и капоры, а те из парней, которые должны были ехать за кучеров, — высокие белые валенки или унты из волчьей шкуры.

— Майка, — ойкнула Анеля Мнишек, — замёрзнешь!

Анеля была из тех некрасивых, но необычайно милых девушек, которые как будто и созданы для того, чтобы быть подвижницами при мужчинах-фанатиках своего дела. Тонёхонькая, вся какая-то нежная и слабая. Рот виновато улыбается. Добрые голубые глаза тоже словно виноваты.

Майка подошла к ней и обняла холодными руками.

— Ой, мёрзлая, — начала вырываться Анеля.

— Ах ты, мой «подопри плющ — он до неба дорастёт», — ласкалась Майка. — Я совсем не мёрзлая. Я просто... здорова-лась со снеговиком.

Алесь обвёл взглядом весёлую компанию и вдруг заметил, что две пары глаз смотрят на него весьма сухо. У двери в гардеробную стояли, одетые уже, Франс Раубич и Илья Ходанский.

Ядвинька Клейна отвернулась от всех и смотрела в окно. Свет жирандоли трепетал на её пепельных волосах, собранных в высокую причёску. Личико было грустным.

И тогда Алесь, словно сквозь сон, вспомнил, как открылась дверь на балюстраду, когда он и Михалина стояли возле болвана. Стало ясно, кто выходил.

Ядвиня, стало быть, сердилась на него. А эти двое тоже. Илья — за Майку, Франс — за Ядвиню.

...Сыпанули на веранду, а потом вниз, по лестнице, к саням, которые стояли уже на круге почёта длинным полукольцом. Мстислав с Анелей и Янкой наперегонки с другими бросились к первой тройке. Бежали как одержимые.

— Хватай, кто что может! — кричал Маевский.

Он бросился на козлы прямо животом, и через миг резкий всплеск колокольчиков разорвал тишину. Отдаляясь, они пели всё более неистово. Первая тройка исчезла в аллее.

Алесь не спешил. Он усадил Майку в четвёртые сани, закутал её ноги медвежьей полстью и протянул вожжи на свободное место рядом с ней: собирался ехать без возницы. И тут, издали, он увидел, что у Ядвиньки и Франса случилось что-то